

* * *

Когда иволга становится простым воробьём –
серым всполохом в голых кустах акации,
словом, что не поймашь, как сердце, перепрыгнувшее ребро, –
мы ищем окошко старой вокзальной кассы,
чтобы уехать в незатейливую страну,
где лица – знакомы по фильмам с тёплой органикой.
Ты крошишь тусклые овощи в грядущее наше рагу
и смотришь на стёкла с росписью Палеха,
пытаясь прочесть код этих узоров. Сонная кипа строк –
выпала на пол из порванного кулька
с эмблемой торговой сети. Тает возле обутых ног
обжитый снег, пока распускает шнурок рука.
Пламень щеки угасает в полутонах холста –
иволгой выпорхнул светлой гуаши луч,
чтобы выписать нас – на хлебной корочке сна,
с которой и воробей в долгие зимы живуч...

* * *

Выбелили лицо Агафьи
белые-белые годы,
белые-белые думы,
белые-белые птицы. В графах
пустых – вписаны счетоводом
все её белые луны.

Белые пальцы – белое воскрешали,
белое грели,
белое только помнят.
В тазик с белой эмалью
плачется небо – чистое от акварели –
моет Агафья ладони,
трёт их до белого хруста
белым как снег полотенцем –
стали ладони ещё белее.
В кухоньке белой варится суп из капусты –
всякий может наестся
в белую пору обеда.

Белые-белые волосы у Агафьи –
словно молочные травы,
словно стебли из мела –
водоросли белого моря, где фрегаты
некогда парусом белым с ветрами
спорили смело.
Волосы эти – под белым платком,
под тканью бесцветной –
будто бы в белом храме
молит Агафья возле икон
о спасении белого света
за век побелевшими навсегда губами.

Знала Агафья чёрные-чёрные зимы –
чёрные ветви царапали чёрные окна,
чёрные вороны жгли свой рассыпанный уголь –
жить с этим чёрным в груди не осталось ни силы,
ни на жизнь отведённого срока –
скоро уж всё заберёт в белый сон эта белая вьюга.

* * *

По барельефам старинных зданий
читаешь фасады, как книгу живого участия
в событиях камня, и видишь, какими мы станем
после наложенного алебаstra.
Здесь хаживал барин и разночинец,
здесь ветхий мужик прогибался под тяжкие арки,
и ты – ножиком перочинным
на спиленном клёне здесь вырезал имя – неким знаком
присутствия. Старый исхоженный центр –
за чугунной оградой продолжит игру перспективы,
где торговые точки в дымном облаке цен
стали главным событием для данности сиротливой.

В зимнюю стужу – всё это срастается с небом,
вывернутым наизнанку, посыпанным мелкой солью, –
тянешь из пенного моря, и вроде не пуст твой невод –
хотя многие рыбы кажутся нарисованными,

ибо в здешней природе пахнущих глянцевою упаковкой пресловутых вещей – всякий выпад изящный – уже анимация. По барельефам читаешь, как это далёко-далёко от того, за что принято в бурю держаться.

Снег – хрустит под ногой, ускоряя движение дня в очень раннюю тьму, где рассудит фонарное право каждый тени мазок, без которого гамма бедна этой каменной старости, вросшей в реальность упрямо.

* * *

*У ворот Иерусалима
Ангел душу ждет мою...*
Николай Гумилёв

«Прости все мои прегрешения», – шептал Николай с Анной на шее, а под сердцем пули уже свили гнездо. Солнце поворачивало голову на восток, но с востока к нему спешила всё та же орда. Для героев, штурмующих Трою, герои труда – сколотили за ночь коня, чтоб гомеровских полунамёков нам хватило с лихвой до нового солнца с востока.

«Прости меня», – продолжал Николай, слыша дальние колокола – оттуда, где у Анны – ни двора ни кола – а только то, что согрела зола.

Ветер треплет прибрежный тростник, чьи стремления к небу – сухи и просты. но последним кузнечикам здесь – монастырь.

* * *

Помню Карелию – сосны-сосны,
вода-вода, камни-камни.
Поезд летел по откосу –
раздвигая хвою стальными руками,
проповедуя чай – разносимый проводниками,
развивая скорость восприятия живописи наскальной,
где рыбы древней острая кость
пронзала сердце шамана насквозь.

Липли к окнам – смотрели
на травы и ели,
на чёрные и замшелые щели
в чреве дикой природы, из которых летели
птицы, нами не встреченные доселе.

Обживали пространство плацкарты –
играли в карты,
читали про ворованные миллиарды,
пили огонь из бутылок стандартных –
и всё же шли по ту сторону
северным лесом,
настигая длинную тень экспресса –
скорее скорого...

Духи Карелии – скакали в танце
вокруг цветочных костров –
бутонов, которыми любоваться
остались глаза затерявшихся станций
в прелых мхах своих медленных снов.

В тамбуре – зябка,
в книге – зыбка,
за стёклами – сопка.
В резиновых тапках
по вагону ходила бабка
в пёстрой косынке –
угощала из банки
брусничным соком.